

## Изъ записной тетради

Извѣстна судьба Гегелевскаго изреченія: «Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig», — «все дѣйствительное разумно; и все разумное дѣйствительно». Когда-то оно возбуждало бури негодованія и восторговъ. Потомъ его растолковали: Гегель «не ставилъ знака равенства между разумомъ и дѣйствительностью-вообще». Онъ имѣлъ въ виду истинно-дѣйствительное. И уже Эдуардъ Гансъ, выпустившій посмертное издание «Философiи Права», доказывалъ, что въ формулѣ Гегеля не было ничего реакціоннаго.

Вотъ что говорить, однако, Гегель въ знаменитомъ предисловіи къ «Основамъ философіи права»: «Настоящая работа, поскольку она содержитъ ученіе о государствѣ, должна быть лишь попыткой понять и представить государство, какъ нѣчто разумное въ себѣ (als ein in sich Vernünftiges). Въ качествѣ философскаго произведенія она всего дальше отъ конструированья государства, — какимъ государство быть должно (einen Staat wie er sein soll). Стоитъ прочесть хотя бы девятнадцать параграфовъ (§ § 231-249), посвященныхъ Гегелемъ полиціи, чтобы усомниться въ вѣрности словъ Эдуарда Ганса. Или же пришлось бы затѣять споръ о томъ, что такое полиція: просто ли дѣйствительное или истинно-дѣйствительное? Конечно, въ свое время велись и такіе философскіе споры; ибо, какъ говорить, по другому поводу, не безъ гордости тотъ же Эдуардъ Гансъ: «Чего только не обосновывалъ или не пытался обосновать нѣмецкій духъ?..»

Безъ всякихъ оговорокъ, безъ всякаго желанія укрыться за истинно-дѣйствительное, ту же идею гораздо раньше высказывалъ Попъ:

All discord — harmony not understood,  
All partial evil — universal good;

And spite of pride, in erring reason's spite,  
One truth is clear: whatever is is right \*).

Поэты смѣлѣе философовъ, — съ нихъ спрашиваютъ меньше...

Всего нѣсколькими страницами дальше знаменитаго изреченія, Гегель бросилъ мысль, менѣе вызывающую, но неизмѣримо болѣе значительную и интересную:

«Um noch über das Belehren, wie die Welt seyn soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprocess vollendet und sich fertig gemacht hat... Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjungen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug»...

Эта мысль не только прекрасна (переводить не рѣшались). Въ наши дни она кромѣ того и до нѣкоторой степени утѣшительна. Въ часъ наступленія сумерокъ (такихъ сумерокъ, какія Гегелю и не снились) сова Минервы должна начать свой тяжелый полетъ...

Но все-таки очень жаль, что философія является «immer zu spät».

\*\*  
\*

Фридрихъ Штейнъ писалъ на склонѣ своихъ дней: «Результатъ моего жизненнаго опыта — ничтожество челоувѣческаго знанія и дѣйствія, въ особенности политическаго»...

Его считаютъ главнымъ создателемъ новой Пруссіи. Лѣтъ восемь тому назадъ я слышалъ рѣчь Штреземана въ рейхстагѣ: въ очень трудную для Германіи минуту онъ призывалъ нѣмцевъ бодро вѣрить въ завѣты великаго Штейна.

\*\*  
\*

До 1918 года я не понималъ, какъ можно быть пораженцемъ. Потомъ понялъ отлично. Сравниваю обѣ логическія

---

\*) Всякій диссонансъ есть непонятая гармонія; всякое частное зло — общее благо. Вопреки горлости, вопреки заблуждающемуся разуму, одна истина ясна: все существующее хорошо.

цѣпи. Одна хуже другой. Но при вполнѣ послѣдовательномъ оборонческомъ образѣ мыслей, мы неизбѣжно должны будемъ пожелать успѣха и пятилѣткѣ, и «колхозамъ», и даже ГПУ.

Арманъ Каррель съ оружіемъ въ рукахъ сражался за испанскую свободу противъ армій французскаго короля. Байронъ считалъ великимъ несчастьемъ англійскую побѣду при Ватерлоо. Вольтеръ поздравлялъ Фридриха II съ военными неудачами французовъ. У насъ на пораженчество, казалось бы, есть нѣсколько больше правъ.

На протяженіи двухъ столѣтій два человѣка подняли вооруженное возстаніе противъ могущественной страны; оба обратились за помощью къ ея «исконному врагу», который, впрочемъ, успѣлъ перемѣниться за время между двумя возстаніями. Первому изъ этихъ революціонеровъ поставили памятники; второго — повѣсили. Въ честь перваго слагали оды величайшіе поэты міра; второго забрасывали грязью. Историкъ, вѣрящій въ имманентную справедливость, вѣроятно, признаетъ, что геройское возстаніе Джорджа Вашингтона, въ отличіе отъ безумной попытки Роджера Кэзента, шло по линіи движенія общечеловѣческаго прогресса. Историкъ, не вѣрящій въ имманентную справедливость, со вздохомъ повторитъ, что въ политикѣ успѣхъ даетъ возможность отличить подвигъ отъ преступленія... А преступленіе отъ «ошибки». Послѣднее вѣрно также и для казнящихъ. Ибо часто (хотя и не всегда) оправдываются слова Мальбранша: «колдуновъ всего больше тамъ, гдѣ ихъ жгутъ».

\*\*

«Но то, что жизнью взято разъ, не въ силахъ рокъ отнять у насъ»... — Неужели? — Рокъ ежедневно отнимаетъ у насъ то, что казалось взятымъ жизнью. Прежде въ такихъ случаяхъ мы все вваливали на «рудинщину», на «обломовщину», на «русскую жизнь», на «среду», которая заѣла половину героевъ нашей литературы. Теперь надо придумать что-либо другое. И красотой образа Рудина тоже нельзя будетъ никого прельстить: ни красотой безвольнаго начала, ни красотой баррикаднаго конца. Вдобавокъ, иностранцамъ, я думаю, оно и не совсѣмъ понят-

но: безвольнаго Рудина Тургеневъ писалъ съ Бакунина! Какіе же у нихъ въ Россіи волевые?

\*\*

Тургеневъ писалъ Герцену:

«Врагъ мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься передъ русскимъ тулупомъ и въ немъ ты видишь великую благодать и новизну, и оригинальность будущихъ общественныхъ формъ, *das Absolute*... Богъ вашъ любитъ до обожанія то, что вы ненавидите, и ненавидитъ то, что вы любите, богъ принимаетъ именно то, что вы за него отвергаете»... «Изъ всѣхъ европейскихъ народовъ именно русскій меньше всѣхъ другихъ нуждается въ свободѣ. Русскій человѣкъ, самому себѣ предоставленный, неминуемо вырастаетъ въ старообрядца: вотъ, куда его гнѣтъ и претъ, а вы сами лично достаточно обожглись ча этомъ вопросѣ, чтобы не знать, какая тамъ глушь и темь, и тиранія. Что же дѣлать? Я отвѣчаю, какъ Скрибъ: *regardez vous ours*, --- возьмите науку».

Тургеневъ мало предсказывалъ и неохотно проповѣдывалъ, но почти всегда хорошо, потому что и предсказывалъ, и проповѣдывалъ онъ самыя элементарныя вещи, вродѣ: ученые — свѣтъ, а неученые — тьма. Онъ-то и оказался первымъ политическимъ мудрецомъ среди классическихъ русскихъ писателей. Снисходительная тонкая мудрость Тургенева еще недостаточно оцѣнена.

И въ области чистой политики всего пріятнѣе мнѣ были люди Тургеневскаго склада. Сдѣлали, быть можетъ, и они не такъ много, но зато не такъ много и общали. Отъ нихъ не останется ни историческихъ восклицаній, ни «бронзовыхъ векселей».

\*\*

Интересный человѣческій документъ: разговоръ Наполеона съ Бенжаменомъ Констаномъ, рассказанный въ воспоминаніяхъ Констана. Изъ этихъ двухъ людей одинъ — теоретикъ исторіи и права, другой — ихъ создатель; одинъ — философъ, другой — тема для философа; одинъ пишетъ романы, другой творить ихъ своей жизнью. Оба внимательно всматриваются другъ въ друга. Наполеонъ чуть презираетъ Констана, — надменная мудрость все пе-

режившаго человѣка, снисхожденіе легендарнаго диктатора къ либеральному юристу. Констанъ не безъ робости вглядывается въ стоящее передъ нимъ живое чудо, хочетъ понять душу Наполеона художественнымъ инстинктомъ, старается противопоставить идеѣ императора одну изъ своихъ идей... «Дѣло пятнадцати лѣтъ моей жизни погибло», — говоритъ Наполеонъ, — «оно не можетъ быть начато вновь». И въ это хладнокровное замѣчаніе человѣка, который констатируетъ фактъ и дѣлаетъ изъ него выводъ, вдругъ вскальзываетъ нота неукротимаго кондотьера, давно утратившаго представленіе о невозможномъ: «Il faudrait vingt ans et deux millions d'hommes à sacrifier!...» Но нѣтъ ни того, ни другого, — ни двадцатилѣтняго срока, ни двухъ милліоновъ жизней... Практикъ тотчасъ же беретъ верхъ надъ кондотьеромъ. — Мнѣ нуженъ народный энтузіазмъ. Народъ хочетъ (*veut ou croit vouloir*) свободы, — говоритъ Наполеонъ тономъ человѣка, котораго нельзя удивить никакой игрушкой, я готовъ заплатить ему за одушевленіе конституціей, свободой слова, отвѣтственностью министровъ. «Je comprends la liberté»...

Именно такъ онъ понималъ свободу; да и не только ее. Демократія — политическія развлеченія для всѣхъ; диктатура — политическія развлеченія для одного. Диктатура преимущественно на основѣ устрашенія; демократія преимущественно на основѣ подкупа.

А теперь? За сто пятнадцать лѣтъ политическая мысль должна была уйти впередъ.

Опытный человѣкъ предлагаетъ выходъ. Надо организовать парламентскую коррупцію, которая до сихъ поръ не упорядочена. «Надо же понять, что въ основѣ парламентскаго строя лежитъ коррупція. Это не цинизмъ. Это признаніе безспорной истины. Нужно принимать людей такими, каковы они въ дѣйствительности, а не изображать на лицѣ брезгливость»...

Слѣдуетъ подробное развитіе этихъ мыслей: демократія должна дать удовлетвореніе возможно большому числу честолюбивыхъ людей въ парламентѣ; нужно поэтому увеличить число министерствъ; нужно завести, какъ въ Англии, секретаря по дѣламъ распредѣленія правительственныхъ подачекъ, *patronage secretary*, или, по терминологіи автора, «*le corrupteur en chef*».

Кто же это такъ изображаетъ демократію? Леонъ До-

дэ? Гитлеръ? Нѣтъ, это пишетъ одинъ изъ столповъ демократіи, лѣвый профессоръ Гастонъ Жезъ, финансовый совѣтникъ «Картеля».

Этому авгуру даже не смѣшно смотрѣть въ лицо другимъ авгурамъ: что тутъ смѣяться, дѣло житейское.

Сходныя мысли можно найти и у сторонниковъ диктатуры. Очень интересно писалъ, на примѣръ, Муссолини о Маккіавелли. Только у нихъ все же откровенности меньше, а дисциплины больше. О кризисѣ демократіи вѣдь первые заговорили демократы. Еще ни одинъ диктаторъ о кризисѣ диктатуры не говорилъ.

А можетъ быть, Жезъ — «внутренній врагъ»? Очень они опасны, незамѣтные внутренние враги — и для диктатуры, и для демократіи. Зарѣжутъ — да еще скажутъ надгробное слово,—какъ императоръ Фердинандъ, подославшій къ Вааленштейну убійцу, велѣлъ отслужить по немъ три тысячи панихидъ.

\*\*

«Неутолимое страданіе, нищета, развратъ — что такъ широко разлито на страницахъ Достоевскаго — это только гноище, на которомъ по закону необходимости вырастаютъ преступное; искаженные характеры, то возвышающіеся до гениальности, то ниспадающіе до слабоумія — это отраженіе того же преступнаго въ человѣческихъ генерацияхъ, наконецъ, это борьба съ ними человѣка и безсиліе его побѣдить; среди хаоса беспорядочныхъ сценъ, забавно-нелѣпыхъ разговоровъ (быть можетъ, умышленно нагроможденныхъ авторомъ) — чудные діалоги и монологи, содержащіе высочайшее созерцаніе судебъ человѣка на землѣ — здѣсь и бредъ, и ропотъ, и высокое умиленіе его страдающей души. Все, въ общемъ, образуетъ картину, одновременно и изумительно вѣрную дѣйствительности, и удаленную отъ нея въ какую-то безконечную абстракцію... Удивительно. — въ эпоху совершенно безрелигіозную, въ эпоху существеннымъ образомъ разлагающуюся, хаотически смѣшивающуюся, создается рядъ произведеній, образующихъ въ цѣломъ что-то напоминающее религіозную эпопею, однако со всѣми чертами кощунства и хаоса своего времени. Всѣ подробности здѣсь -- наши; это — мы, въ своей плоти и крови, въ безконечномъ грѣхѣ и покаяніи говоримъ въ его произведеніяхъ;

и, однако, во всё эти подробности вложенъ не нашъ смыслъ или, по крайней мѣрѣ, смыслъ, котораго мы въ себѣ не знали. Точно кто-то, взявъ наши хулящія Бога языки и, ничего не измѣняя въ нихъ, сложилъ ихъ такъ, такъ сочеталъ тысячи разнородныхъ ихъ звуковъ, что уже не хулу мы слышимъ въ окончательномъ и общемъ созвучи, но хвалу Богу; и ей удивляясь, къ ней влечемся».

Въ ту пору, когда это писалъ Розановъ, мы еще были молоды. «Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire»... Жизнь оказалась лучшимъ комментаторомъ Достоевщины. Въ Москвѣ есть по Достоевскому семинарию. Самый наглядный — на Лубянкѣ.

Какъ нѣкоторыя гениальныя мысли Чаадаева, романъ «Бѣсы» не былъ понятенъ до событій послѣдняго десятилѣтня. Въ минуты мрачнаго вдохновенья зародилась эта книга въ умѣ Достоевскаго. Этотъ человекъ, не имѣвшій представленія о политикѣ, былъ въ своей области подлинный пророкъ, провидецъ глубины и силы необычайной. Октябрьская революція безъ него непонятна; но безъ «прореакціи» на нынѣшнія событія непонятенъ до конца и онъ, черный брилліантъ русской литературы...



«Преступленіе и наказаніе». Гениальный ребусъ. «Парадоксъ» о Наполеонѣ и Алень Ивановѣ логически не разрѣшается и не разрѣшимъ. Достоевскій ничего не можетъ отвѣтить Раскольникову (такъ же, какъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» Алеша ничего не можетъ отвѣтить Ивану). Преступленіе занимаетъ въ книгѣ десять страницъ, а наказаніе семьсотъ. Преступленіе (гнусное и ужасное) рассказано такъ, что духъ захватываетъ (помню, какъ я читала въ первый разъ): «Вдругъ схватятъ Раскольникова?.. Нѣтъ, слава Богу, спася!..» А при изображеніи наказанія — художественный фокусъ: каторга показана очень уклончиво, сдержанно, въ эпилогѣ. Достоевскій хорошо знаетъ, что такое каторга. Описать ее здѣсь по настоящему значило бы вызвать безнадежную путаницу во всемъ замыслѣ романа. Наказаніе стало бы тоже преступленіемъ и отъ злополучной идеи «очищенія страданіемъ» осталось бы, вѣроятно, немного. Пришлось бы очистить страданіемъ и все каторжное начальство. Когда у Достоевскаго зло

побѣждается добромъ, читатель испытываетъ смутное безпокойство. Въ свѣтѣ того, что Достоевскій зналъ и думалъ о жизни, «Дневникъ писателя» кажется насмѣшкой.

Въ мирѣ не было столь мрачнаго писателя. Удивительно то, какъ непривлекательны его привлекательныя герои (о другихъ не стоитъ и говорить). Его собственная жизнь — сплошное страданіе, порою настоящій адъ. Онъ былъ больше, чѣмъ «un de ces pauvres diables qui sont la sougonne de l'humanité», — какъ говорилъ о Гейне Бодлеръ.

Умъ Достоевскаго: кладбище, объятое пожаромъ. — не нахожу другого сравненія.



«Плохо писалъ... Кинематографъ!..» говорилъ мнѣ о Достоевскомъ знаменитый русскій писатель, который очень его не любитъ.

Врубель какъ-то сказалъ, что, если-бъ онъ былъ богатъ, не писалъ бы самъ картинъ, а заказывалъ бы ихъ художнику съ техникой, объяснивъ подробно весь свой замыселъ!

Техника Достоевскаго, въ нѣкоторыхъ романахъ изумительная, была со срывами (какъ языкъ у него астматическій). У Толстого глава о Нехлюдовѣ въ «Воскресеніи» начинается такъ: «Въ то время, когда Маслова, измученная длиннымъ переходомъ, подошла со своими конвойными къ зданію окружного суда, тотъ самый племянникъ ея воспитательницы, князь Дмитрій Нехлюдовъ, который соблазнилъ ее, лежалъ еще на своей высокой постели», и т. д. Это значитъ: можно было бы, конечно, устроить тебѣ, читатель, эффектный сюрпризъ, но мнѣ сюрпризы и эффекты не нужны и не подобають, — сразу говорю: «тотъ самый, который соблазнилъ ее»... Достоевскій въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» тщательнѣйшимъ образомъ скрываетъ до конца, что Нелли дочь князя. Однако читатель тотчасъ объ этомъ догадывается.

Во всякомъ случаѣ Достоевскій имѣлъ право писать «плохо», — Жюль Ренаръ только за Бальзакомъ и признавалъ это право.



\*\*

Говорятъ: «le style c'est l'homme». Едва ли это вѣрно. Какіе сдѣлаешь выводы о душѣ Лермонтова изъ простоты, изъ ясности его божественной прозы (лучшей въ русской, а, можетъ быть, и въ міровой литературѣ)? По великолѣпнымъ законченнымъ періодамъ Флобера никто не скажетъ, что онъ былъ эпилептикъ и очень несчастный человѣкъ. Мистикъ Сведенборгъ былъ инженеръ-химикъ и свои работы по металлургіи писалъ, вѣроятно, такъ, какъ полагается писать инженерамъ. Le style c'est l'homme de lettres — и только.

\*\*

«Мертвыя души». Изумительная книга. Какой гениальный писатель! Даже Толстой имѣетъ предшественниковъ (вѣдь считаютъ его иные западные критики «продолжателемъ дѣла Стендаля»). У Гоголя предшественниковъ нѣтъ (хоть тоже, конечно, называли). Онъ не похожъ ни на кого.

Въ учебникахъ исторіи словесности его называютъ «реалистомъ»: онъ «принесъ правду въ русскую литературу».

Почти наудачу:

«Господинъ былъ встрѣченъ половымъ, живымъ и вертявымъ до такой степени, что даже нельзя было разсмотрѣть, какое у него было лицо»...

«Шумъ отъ перьевъ (въ гражданской палатѣ) былъ большой и походилъ на то, какъ будто бы нѣсколько телѣтъ съ хворостомъ проѣзжали лѣсъ, заваленный на четверть аршина изсохшими листьями»...

«Хотя эти деревца были не выше тростника, о нихъ было сказано въ газетахъ при описаніи иллюминаціи, что «городъ нашъ украсился, благодаря попенченію гражданского правителя, садомъ, состоящимъ изъ тѣнистыхъ, широко-вѣтвистыхъ деревъ, дающихъ прохладу въ знойный день», и что при этомъ «было очень умиительно глядѣть, какъ сердца гражданъ трепетали въ избыткѣ благодарности и струили потоки слезъ, въ знакъ признательности къ господину градоначальнику»...

Разумѣется, не было и не могло быть ни такихъ газетъ, ни такихъ канцелярій, ни такихъ половыхъ. Надоѣ-

ли школьные термины, но если это «реализмъ», что такое «гротескъ»? Гоголь правдивѣе Жуковского, какъ Домье правдивѣе, чѣмъ Мурильо. Настоящую правду принесъ въ мировую литературу Толстой. Онъ и Крылова не признавалъ: выдуманный языкъ, выдуманныя положенія (тоже и у Лафонтена), лиса сыра терпѣть не можетъ!..

И поговорить Гоголь очень любилъ:

«Для читателя будетъ не лишнимъ познакомиться съ сими двумя крѣпостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не такъ замѣтныя и то, что называютъ второстепенныя или даже третъестепенныя, хотя главныя ходы и пружины поэмы не на нихъ утверждены и развѣ кое-гдѣ касаются и легко зацѣпляють ихъ, но авторъ любить чрезвычайно быть обстоятельнымъ во всемъ, и съ этой стороны, несмотря на то, что самъ человекъ русскій, хочетъ быть аккуратенъ, какъ нѣмецъ»...

Любилъ поболтать — несмотря на «смѣхъ сквозь слезы», «необыкновенную скупость въ изобразительныхъ средствахъ», и все то, чему насъ учили въ гимназіяхъ. Вся плохая часть русской литературы вышла изъ нѣсколькихъ неудачныхъ страницъ Гоголя, — это въ сущности высшая ему похвала.



Въ своихъ «*Reflexions on the Revolution in France*» Эдмундъ Беркъ доказывалъ, что революція погубила Францію своимъ неуваженіемъ къ историческимъ традиціямъ страны: «Вы начали плохо, такъ какъ начали съ презрѣнія ко всему, что у васъ было. Вы затѣяли торговлю безъ основнаго капитала. Если послѣднія поколѣнія въ вашей странѣ представлялись вамъ лишенными блеска, вы могли пройти мимо нихъ, обратившись къ болѣе отдаленной линіи предковъ. Вы не должны были разсматривать французовъ, какъ народъ, существующій со вчерашняго дня (*as a people of yesterday*), какъ націю, состоявшую изъ низкорожденныхъ тварей до освободительнаго 1789 года».

Слова эти точно вчера написаны. Но къ чему, къ кому надо было обратиться Россіи? Къ декабристамъ? Къ первымъ годамъ царствованія Александра? Къ Петру Великому?

Ни къ кому въ болѣе отдаленной линіи предковъ не обращались въ 1789 году французы. Ни къ кому не обращались за полтора вѣка до того англичане. У революцій своя историческая традиція (очень скверная): ни съ какими историческими традиціями не считается.

Вольтеръ и Руссо, идеологи той революціи, были по крайней мѣрѣ классическими писателями Франціи.

А у насъ — Ленинъ....

\*\*  
\*

«Стиль Ленина»... «Литературные приемы Ильича»... «Какъ писалъ Ленинъ»... О, Господи!

Нѣтъ, этого никогда въ исторіи не было. Ни Павелъ I, ни императрица Екатерина, ни Людовикъ XIV не потерпѣли бы такой безстыдной лести. Да и придворные были умнѣе.

Бюловъ рассказываетъ анекдотъ:

Людовикъ XIV показалъ Сень-Симону свои стихи и спросилъ, что онъ о нихъ думаетъ. — «Sire, rien n'est impossible à Votre Majesté», — отвѣтилъ Сень-Симонъ. — «Vous avez voulu faire un mauvais sonnet, vous avez pleinement réussi».

\*\*  
\*

Судъ современника:

Салтыковъ писалъ Анненкову объ «Аннѣ Карениной»: «Вѣроятно, Вы читали романъ Толстого о наилучшемъ устройствѣ быта дѣтородныхъ частей. Меня это волнуетъ ужасно. Ужасно думать, что еще существуетъ возможность строить романы на однихъ половыхъ побужденіяхъ... Можно ли себѣ представить, что изъ коровьяго романа Толстого дѣлается какое-то политическое знамя».

Мораль: вотъ до чего партійность и кружковщина доводятъ страстныхъ людей, даже такихъ умныхъ и талантливыхъ, какъ Салтыковъ!

Противоядіе: «судъ потомства». Правда, онъ мѣняется каждые двадцать пять лѣтъ. Но Толстые выдерживаютъ. Другимъ репутація дается въ аренду, — еще очень хорошо, если въ пожизненную. Отъ литературы девятнадцатаго вѣка по настоящему остался десятокъ именъ. Остальнымъ — пять строкъ въ Grundriss'ахъ и десять въ Hand-

buch'ахъ. Такъ съ парижскихъ кладбищъ по минованіи срока свозятъ кости въ общую могилу. «Concession à perpétuité» больше почти нигдѣ не выдаются. Вслѣдствіе переполненія.

\*\*  
\*

Есть люди-анахронизмы. Особенно много ихъ у насъ. Но встрѣчаются они и на западѣ. Таковъ Уинстонъ Черчилль, — Бріанъ де-Буагильберъ въ роли канцлера казначейства. Онъ опоздалъ. Ему бы носиться въ латахъ, съ копьемъ, на боевомъ конѣ. А онъ составляетъ (или критикуетъ) бюджетъ.

\*\*  
\*

Шартръ. Маленькій прелестный городокъ. Утромъ кажется: здѣсь бы прожить всю жизнь. А въ тотъ же вечеръ справляешься: нѣтъ ли повѣзда, чтобы сейчасъ же уѣхать.

Въ двухъ шагахъ отъ знаменитаго собора *Maison du Saumon*, домъ 15-го вѣка. Такіе дома во Франціи есть вездѣ; у насъ, если не ошибаюсь, былъ только одинъ частный домъ, насчитывавшій три столѣтія жизни: обиліе лѣсовъ въ Россіи было несчастьемъ русскаго искусства.

Старый домъ ужасенъ: какъ здѣсь жили люди? почему не устраивались лучше? Да потому и не устраивались, что на это смотрѣли, какъ на временное, неважное, скоро преходящее. Вся земля была въ ту пору постояннымъ дворомъ. Для настоящаго былъ соборъ, — онъ великолѣпнень.

Стали старше — одумались. Мольеръ говоритъ съ презрѣніемъ: «*le fade goût des monuments gothiques, ces monstres odieux des siècles ignorants*»...

\*\*  
\*

Непостижимое мировоззрѣніе Клемансо: жизнь бессмысленна, міръ отвратителенъ, люди подлцы или браны, а потому — «*agir! agir!...*»

Зачѣмъ же *agir*?

Да еще легкій тикъ: «*les boches*».

\*\*  
\*

Царь Петръ наказывалъ Никитѣ Демидову, своему комиссару на какихъ-то заводахъ: «Работать тебѣ съ крайнимъ и тщательнымъ радѣніемъ, напоминая себѣ смертные часы».

Какъ сжато, и какъ сильно! — тутъ лучшее, что было въ Петрѣ Великомъ.

Вотъ изъ этого и слѣдаемъ девизъ на остатокъ дней.

**М. Алдановъ.**